

Часть первая. Движущие идеи анархизма

Немного о словаре

Слово «анархия» старо как мир. Оно происходит от древнегреческих слов «ан» (αν) и «архе» (αρχή) и означает отсутствие власти или правительства. Тысячелетиями, однако же, царило предвзятое мнение, что человеку обязательно требуется либо одно, либо другое, а синонимом «анархии» в чисто отрицательном смысле были беспорядок, хаос и дезорганизация.

Автор остроумнейших каламбуров (к примеру, «собственность — это кража») Пьер-Жозеф Прудон попытался переприсвоить слово «анархия». Как будто задавшись целью возможно сильнее шокировать обывателя, он завязал с ним, начиная с 1840 г., такой провокационный диалог:

— Вы — республиканец.

— Да, республиканец, ну и что? Это слово ничего конкретного не означает. *Res publica* означает нечто публичное[16]... Но, таким образом, выходит, что и короли — республиканцы!

— А, так вы — демократ?

— Нет.

— Как! Может, вы монархист?

— Нет.

— Конституционалист?

— Упаси бог!

— Тогда вы — аристократ?

— Вовсе нет!

— Значит, вы выступаете за смешанную форму правления?

— Это ещё дальше от истины.

— Тогда кто же вы?

— Я — анархист.

Под «анархией», которую он иногда в виде орфографической уступки писал «ан-архия», дабы ещё сильнее сбить с толку толпы своих идейных противников, Прудон, бывший больше созидателем, нежели разрушителем, несмотря на создаваемую им видимость, понимал совершенно обратное беспорядку, как мы и увидим далее. Он полагал, что ответственность за разлад и беспорядок несёт правительство, и что только в обществе, лишённом правительства, можно восстановить естественный порядок вещей и достичь социальной гармонии. Для обозначения этой панацеи и ссылаясь на то, что в языке нет другого подходящего термина, он лукаво вернул древнему слову «анархия» его строгий этимологический смысл.

Удивительно, впрочем, что в пылу полемики он упрямо и настойчиво — как, позднее, и его последователь Михаил Бакунин — использовал слово «анархия» вдобавок ещё и в уничижительном смысле, для обозначения беспорядка, как если бы карты уже не были достаточно спутаны.

Сознательно не делая явных различий между двумя ипостасями этого термина, Прудон и Бакунин извлекали извращённое удовольствие из этой игры с определениями. Для них анархия означала как высшую степень беспорядка, колоссальную общественную дезорганизацию, так и гигантское революционное переустройство, построение нового стабильного и разумного порядка, основанного на принципах свободы и солидарности.

Однако непосредственные последователи обоих отцов анархизма несколько колебались употреблять настолько растяжимый термин, ведь для непосвящённых он нёс лишь отрицательный заряд, а это само по себе способствовало бы возникновению раздражающей терминологической путаницы на пустом месте. Остепенившийся Прудон сам именовал себя в конце своей недолгой карьеры «федералистом». Его мелкобуржуазные последователи предпочли слову «анархизм» термин «мютюэлизм»[17], а последователи социалистического толка — «коллективизм», вскоре заменённый «коммунизмом». Позднее, во Франции в конце XIX века, Себастьян Фор[18] вытащил на свет слово, выдуманное ещё в 1858 г. неким Жозефом Дежаком, и сделал из него название своей газеты: «Le Libertaire». В наши дни оба термина, «анархический» и «либертарный», стали равнозначными и взаимозаменяемыми[19].

Однако большинство этих терминов страдает вполне серьёзным недостатком: они не выражают фундаментального аспекта тех доктрин, которые они призваны характеризовать. Слово «анархия» на самом деле синонимично слову «социализм», ведь анархист — это социалист, чьей приоритетной задачей является устранение эксплуатации человека человеком. Анархизм — не что иное, как одно из течений социалистической мысли, в котором главным является стремление к свободе и желание упразднить государство. Один из чикагских мучеников,[20] Адольф Фишер, утверждал, что «каждый анархист —

непременно социалист, но не каждый социалист обязательно анархист».

Некоторые анархисты полагают, что именно они являются наиболее подлинными и наиболее последовательными социалистами. Но ярлык, который они на себя добровольно навесили (или дали навесить), и который они, кроме прочего, делят с террористами, слишком часто и абсолютно несправедливо выделяет их как некое «инородное тело» из семейства социалистов. Из этого и возникают в большинстве случаев беспочвенные и бесполезные словесные баталии и длинная череда недопониманий. Некоторые современные анархисты попытались развеять двусмысленность путём использования более чёткой терминологии: они именуют себя приверженцами либертарного социализма или либертарного коммунизма.

Врождённый бунт

Анархизм — это, прежде всего, то, что можно было бы назвать врождённым бунтом. Огюстен Амон[21], проведший в конце прошлого века опрос общественного мнения среди анархистов, пришёл к заключению, что анархист — это, в первую очередь, бунтующий индивид. Он всецело отрицает общество и его охранителей. Для него, по словам Макса Штирнера, нет ничего святого. Он предаётся повсеместному развенчанию ценностей. Эти «духовные бродяги», эти «смутьяны» «вместо того, чтобы держаться в пределах умеренного образа мыслей и принимать за неопровержимую истину то, что тысячам приносит утешение и успокоение, (...) перескакивают через все границы старого и сумасбродствуют, давая волю своей дерзкой критике, своему безудержному скептицизму».

Прудон отбрасывает разом всю без исключения «официальную братию» — философов, священников, судей, учёных, журналистов, парламентариев. Для этих последних «народ всегда был чудовищем, с которым надо бороться, заковывать его в цепи и натягивать ему намордник, которое надо обманывать, как носорога или слона, или устрашать голодом, — чудовищем, которому пускают кровь путём колонизации и войн». Элизе Реклю[22] так объяснял для чего людям обеспеченным и облечённым властью кажется столь нужным и полезным сохранять существующее общество: «Поскольку есть богатые и бедные, правители и подданные, хозяева и слуги, цезари, отдающие приказ идти на бой, и гладиаторы, идущие на бой и погибающие, дальновидным людям остаётся лишь встать на сторону богатых и хозяев, превратиться в царедворцев цезарей».

Постоянное состояние бунта заставляет анархиста испытывать симпатию к людям вне закона, позволяет ему понять осуждённого и парию. По мнению Бакунина, Маркс и Энгельс в высшей степени несправедливо отзывались о люмпен-пролетариате,[23] о «пролетариате в лохмотьях», «поскольку дух и сила грядущей социальной революции в нём и только в нём, а не в обуржуазившейся прослойке рабочей массы».

В уста своего Вотрена[24], являющегося ярким воплощением социального протеста, полубунтовщика, полупреступника, Бальзак вложил взрывные речи, от которых не отречётся ни один анархист.

Ужасы государства

Для анархиста государство — наиболее пагубный и гибельный из предрассудков и предубеждений, ослеплявших человека испокон веков. Штирнер гневно возмущается теми, кто «извечно» «пребывает под властью государства».

Прудон мечет громы и молнии против этой «фантазмагии нашего духа, в то время как первейший долг свободного разума — отослать его [государство] в музеи и библиотеки». Он раскрывает тайны государственного механизма: «Поддержание этой ментальной предрасположенности и столь длительная непобедимость ослепления объясняются тем, что правительство всегда представало в умах как естественный орган правосудия, защитник слабого». Глумясь над закоснелыми «авторитариями», «которые склоняются перед властью подобно церковным служкам, преклоняющим колени перед святыми дарами на причастии», браня «все без исключения партии», «непрестанно устремляющие свой взгляд на власть как на единственный полюс», он страстно, всей душой призывает тот день, когда «отказ от власти заменит в политическом катехизисе веру во власть».

Кропоткин смеётся над буржуа, «считающими народ толпой дикарей, которые перегрызутся, если правительство прекратит своё существование». Малатеста во многом предвосхитил психоанализ, когда в подсознании «авторитариев» обнаружил страх перед свободой.

Так в чём же, по мнению анархистов, заключаются преступления государства?

Послушаем Штирнера: «Оба мы, государство и я, — враги». «Каждое государство — тирания, будь то тирания одного человека или тирания многих». Каждое государство непременно, как мы бы сказали сейчас, тоталитарно: «Государство всегда занято тем, чтобы ограничивать, обуздывать, связывать, подчинять себе отдельного человека, делать его «подданным» чего-нибудь всеобщего. (...) Всякую свободную деятельность государство старается затормозить и подавить своей цензурой, своим надзором, своей полицией, считая своим долгом так поступать, и таков действительно его долг — долг самосохранения». «Государство разрешает мне выражать все мои мысли и пользоваться ими (...); но всё это до тех пор, пока мои мысли — его мысли. (...) Иначе оно заткнёт мне рот».

Прудон вторит Штирнеру: «Управление человека человеком есть порабощение». «Кто накладывает на меня свою руку, чтобы управлять мною, — узурпатор и тиран; я объявляю его своим врагом». И он раздражается тирадой, достойной Мольера или Бомарше:

«Находиться под властью правительства, означает, что за тобой постоянно присматривают, проверяют, шпионят, направляют, контролируют, опутывают законами, ставят в стойло, накачивают пропагандой, наставляют, оценивают, цензурируют, командуют — и кто?! Люди, не имеющие на это ни прав, ни знаний, ни добродетели! (...) Жить под властью правительства означает при каждой операции, каждом соглашении, каждом движении подвергаться оценке, регистрации, учёту, тарификации, сбору, обмеру, котировке, раскладке, уплате взносов, обложению налогом, выдаче патента, лицензии, разрешения и

рекомендаций, запрету, переформированию, исправлению, образумлению, наказанию. Под предлогом общественной пользы и во имя общих интересов это означает быть управляемым, используемым, платить выкуп, подвергаться грабежу, эксплуатации, монополии, взяточничеству, вымогательству, мистификациям, быть обворованным; а при малейшем сопротивлении, при первом же слове жалобы — подвергнуться подавлению, пресечению, обузданию, уплате штрафа, поношению, смешению с грязью, унижению, преследованию, брани, избиению, укрощению, обезоруживанию, быть связанным по рукам и ногам, брошенным в тюрьму, расстрелянным из винтовок или пулемётов, судимым, осуждённым, приговорённым, сосланным, принесённым в жертву, проданным, преданным и, в довершение всего, быть обманутым, надутым, одураченным, оскорблённым, обещанным. Вот что представляет собой правительство, вот его правосудие, вот его мораль! (...) О, человеческая личность! Неужто уже шестьдесят веков, как ты продолжаешь погрязать в этой гнуси?»

С точки зрения Бакунина, государство есть «абстракция, пожирающая жизнь народа», «огромное кладбище, где все истинные порывы, стремления и жизненные силы страны блаженно сходят в могилу во имя этой абстракции».

Как писал Малатеста, «отнюдь не будучи создателем энергии, правительство разбазаривает, парализует и уничтожает своими методами действия огромные силы».

По мере того, как множатся силы государства и укрепляется его бюрократия, опасность увеличивается. В своём пророческом видении Прудон предвещает главный бич XX века: «Бюрократизм (...) ведёт к государственному коммунизму, к поглощению всей местной и индивидуальной жизни административной машиной, к уничтожению всех проявлений свободомыслия. Все хотят укрыться под крылом власти, жить по общей модели». Настала пора положить этому конец: «Поскольку централизация продолжает усиливаться, (...) положение стало таковым (...), что общество и правительство не могут более жить вместе». «В государстве нет ничего, абсолютно ничего, с самого верха иерархии и до самого низа, что не являлось бы злоупотреблением, которое необходимо искоренить, паразитизмом, который надо уничтожить, инструментом тирании, который нужно сломать. И вы ещё можете говорить о сохранении государства, о расширении прерогатив государства, об усилении власти государства! Полно, вы вовсе не революционер!»

Аналогичный мрачный взгляд на всё более и более тоталитарное государство разделял и Бакунин. Он видел, что силы мировой контрреволюции, «опирающиеся на огромные бюджеты, постоянные армии, громадную бюрократию», «оснащённые всеми страшными средствами, которые дала им современная централизация», являются «громадным, угрожающим, сокрушительным фактом».

Против буржуазной демократии

Анархист осуждает лживость буржуазной демократии ещё более решительно, чем это делает «авторитарный» социалист.

Буржуазно-демократическое государство, именуемое «нацией», кажется Штирнеру не менее опасным, чем старое абсолютистское государство. «Монарх в лице „короля-властелина“ был жалким монархом в сравнении с этим новым монархом — „суверенной нацией“». «В либерализме... сказывается преемственность старого христианского пренебрежения к „Я“». «Безусловно, многие привилегии были с течением времени искоренены, но исключительно в пользу государства (...), а отнюдь не для укрепления моего „Я“».

По мнению Прудона, «демократия есть не что иное, как конституционный произвол». Народ был провозглашён суверенным вследствие «хитрости» наших предков. В действительности же он — король без владений, подражание королям, от монаршего величия и великодушия сохранивший лишь титул. Он царит, но не управляет. Сменив свою верховную власть на периодическое отправление всеобщего избирательного права, он каждые три года или каждые пять лет возобновляет своё отречение от престола. Династия была свергнута с трона, но власть сохранилась в неприкосновенности. Избирательный бюллетень в руках народа, воспитанием и образованием которого умышленно пренебрегли, есть искусный обман, мошенничество, из которого извлекает выгоду лишь коалиция магнатов собственности, торговли и промышленности.

Теория суверенитета народа содержит в себе своё отрицание. Если бы весь народ был поистине суверенным, то больше не было бы ни правительства, ни управляемых. Суверен сам стал бы ничем. У государства не было бы более ни малейшей причины для существования, оно слилось бы с обществом и растворилось бы в промышленной организации.

Бакунин видел, что «представительная система правления, отнюдь не являющаяся гарантией для народа, напротив, создаёт и гарантирует существование правительственной аристократии, действующей против народа». Всеобщее избирательное право есть ловкое одурачивание, обман, предохранительный клапан, маска, за которой «прячется действительно деспотическая власть государства, основанная на полиции, банках и армии», «превосходное средство для угнетения и разорения народа именем так называемой народной воли, которая используется только в целях маскировки».

Анархист не верит в освобождение посредством избирательного бюллетеня. Прудон был абстенционистом,[25] по крайней мере, в теории. Он считал, что «социальная революция может быть серьёзно скомпрометирована, если она воплощается в жизнь вследствие политической революции». Голосование — это бессмыслица, это акт слабости и соучастия в коррумпированном режиме. «Для борьбы со всеми прежними партиями, мы должны искать своё законное поле битвы не в парламенте, но вне его». «Всеобщее избирательное право есть контрреволюция». Для того чтобы конституироваться как класс, пролетариат должен сначала «отколоться» от буржуазной демократии.

Однако воинственный Прудон часто отступал от этой принципиальной позиции. В июне 1848 г. он позволил избрать себя в парламент и на короткое время увяз в парламентском болоте. Дважды, во время местных выборов в сентябре 1848 г. и президентских выборов 10 декабря того же года, он поддержал кандидатуру Распая[26] — глашатая крайне левых,

находившегося в то время в тюрьме. Он даже зашёл настолько далеко, что позволил ослепить себя тактикой «наименьшего зла», выразив поддержку генералу Кавеньяку,[27] палачу парижского пролетариата, перед начинающим диктатором Луи-Наполеоном.[28] Гораздо позже, в 1863 и 1864 гг., он выступал уже за то, чтобы избиратели голосовали пустыми бюллетенями, но в качестве протеста против имперской диктатуры, а не в качестве оппозиции всеобщему голосованию, которое он отныне окрестил «демократическим принципом *par excellence*[29]».

Бакунин и его соратники по Первому Интернационалу[30] возражали против ярлыка «абстенционистов», навешенного на них марксистами. Для них бойкот избирательных урн был простым вопросом тактики, а не догматом веры. Хотя они утверждали приоритет классовой борьбы в экономической области, они бы не согласились с утверждением, что игнорируют «политику». Они отвергали не всякую «политику», а только политику буржуазную. Они не осуждали политическую революцию, если та предшествовала революции социальной. Они стояли в стороне лишь от тех политических движений, прямой и немедленной целью которых не являлось полное освобождение рабочих. То, чего они боялись и от чего дистанцировались, так это двусмысленных избирательных союзов с радикальными буржуазными партиями образца 1848 г. или с «Народными фронтами», как мы бы их назвали сегодня.[31] Они также опасались, что рабочие, избранные депутатами в парламент, переносятся в буржуазные условия жизни, перестают быть трудящимися и становятся государственными деятелями, обуржуазиваются, и могут стать даже большими буржуями, чем сами буржуи.

Однако отношение анархистов к всеобщему голосованию далеко не всегда одинаково и последовательно. Некоторые считали голосование крайним средством, за неимением лучшего. Другие, более бескомпромиссные, готовы были предать этих последних проклятию за использование голосования вне зависимости от обстоятельств и считали это вопросом о чистоте доктрины. Так, например, Малатеста по случаю победы на выборах союза левых сил во Франции в мае 1924 г. отказался идти на какие-либо уступки. Он признавал, что в определённых обстоятельствах результат выборов может иметь «хорошие» или «плохие» последствия, и что он будет иногда зависеть от голосов анархистов, особенно, если силы противоборствующих политических группировок почти равны. «Но это неважно! Даже если некоторые небольшие сдвиги и успехи будут прямым следствием победы на выборах, анархисты не должны рваться к урнам». Он заключал: «Анархисты всегда были чисты и остаются преимущественно революционной партией, партией будущего, поскольку они сумели не поддаваться сладким песням избирательных сирен».

Непоследовательность анархистской доктрины в этом вопросе особенно наглядно показала себя в Испании. В 1930 г. анархисты объединились в единый фронт с буржуазными демократами, для того чтобы свергнуть диктатора Примо де Риверу.[32] На следующий год, несмотря на официальный отказ от участия в голосовании, многие анархисты всё же участвовали в муниципальных выборах, что привело к ниспровержению монархии. На всеобщих выборах 19 ноября 1933 г. они решительно призвали воздержаться от голосования, в результате чего более чем на два года к власти вернулись правые силы, яростно настроенные против рабочих. Анархисты подстраховались, заранее объявив, что, если их неучастие в выборах приведёт к победе реакции, они ответят на это разжиганием

социальной революции. Вскоре они попытались это сделать, но тщетно и ценой больших потерь (убитых, раненых и арестованных). Когда в начале 1936 г. партии левого крыла объединились для создания Народного фронта, центральная анархо-синдикалистская организация находилась в сильном затруднении относительно того, какую позицию занять. В конце концов, она очень неохотно, практически сквозь зубы объявила себя воздерживающейся от голосования, но её пропагандистская кампания была настолько неактивной, что массы практически ничего не поняли в этой позиции и были готовы участвовать в выборах. Придя на выборы, массы обеспечили триумф Народного фронта (263 депутата от левого крыла против 181 от всех остальных).

Необходимо заметить, что, несмотря на свои яростные атаки на буржуазную демократию, анархисты признавали, что она относительно прогрессивна. Даже Штирнер, самый непреклонный из всех, иногда позволял себе произносить слово «прогресс». «Без сомнения, когда народ переходит от монархического государства к демократическому, налицо некий прогресс», — заключал Прудон. Ему вторил Бакунин: «Не надо думать, что мы подвергаем критике демократическое правительство в угоду монархии (...). Даже самая несовершенная республика в тысячу раз лучше, чем самая просвещённая монархия... Демократический режим поднимает мало-помалу массы до общественной жизни». Это опровергает высказанное Лениным мнение, согласно которому «некоторые анархисты» провозглашают, что «форма угнетения безразлична для пролетариата». Это также опровергает подозрение Анри Арвона,^[33] высказанное им в небольшой книжке «Анархизм», в которой он утверждал, что анархистская оппозиция по отношению к демократии совпадает с антидемократизмом контрреволюционным.

Критика «авторитарного» социализма

Все анархисты единодушно подвергают «авторитарный» социализм огню суровой критики. В эпоху, когда были брошены их бичующие обвинения, они не были полностью обоснованными, поскольку позиция, на которую они были направлены, была либо примитивным, «грубым» коммунизмом, доктриной, не оплодотворённой ещё марксистским гуманизмом, либо, как это было уже в случае с Марксом и Энгельсом, не была настолько зациклена на «власти» и «государственности», как то утверждали анархисты^[34]. Хотя в XIX веке авторитарные тенденции в социалистической мысли находились ещё в зародышевом состоянии и не были в достаточной степени развиты, в наше время они значительно укрепились и распространились. С учётом такого разрастания критика анархистов кажется уже менее тенденциозной и несправедливой; иногда она даже приобретает некоторый провидческий характер.

Штирнер принимал многие базовые положения коммунизма, но со следующей поправкой: признание коммунистической веры, по его мнению, действительно было первым шагом к полной эмансипации всех жертв нашего общества, но полностью излечить их «отчуждённость» и дать им сполна развить свою индивидуальность представляется возможным лишь при условии, что они выйдут за пределы коммунизма.

Штирнер считал, что в коммунистической системе отдельный рабочий всё равно остаётся подвластен господству общества трудящихся. Общество обязывает его работать, навязывает ему работу, которую он воспринимает как нудное наказание. Разве не писал коммунист Вейтлинг[35]: «Человеческие способности будут развиваться лишь в той мере, в какой они не нарушают гармонии общества»? На это Штирнер отвечал: «Для меня нет разницы, быть ли лояльным тирану или «обществу» Вейтлинга — при любом положении вещей у меня отняты мои права».

Коммунизм не видит за рабочим человека, не заботится о проблеме «свободного времени». Он пренебрегает самой сутью: он не предоставляет человеку возможности почувствовать себя личностью, после того как тот выполнил свою производственную функцию. И, что самое важное, Штирнер предвидел возможность того, что, как только коммунистическое общество заполучит в коллективную собственность все средства производства, государство будущего станет ещё более всевластным, чем нынешнее:

«Полностью отменив частную собственность, коммунизм поставит меня в положение, где я ещё больше буду зависеть от других, от общего или целого, и, несмотря на то, что он яростно выступает против государства, он сам намеревается установить своё собственное государство, (...) положение вещей, которое парализует мою свободу действий и сделает меня субъектом суверенной власти. Коммунизм справедливо восстаёт против угнетения, испытываемого мною со стороны частных собственников, но сила и власть, влагаемые им в руки целого, всех, намного ужаснее и страшнее».

Прудон также яростно бранит «коммунистическую систему, правительственную, диктаторскую, авторитарную, доктринёрскую», которая «исходит из того принципа, что личность должна преимущественно подчиняться коллективу». Понимание коммунистами государственной власти абсолютно то же, что и понимание её прежними хозяевами и властителями; более того, оно даже гораздо менее либерально. «Подобно армии, отнявшей пушки у врага, коммунизм лишь повернул против армии хозяев её же собственную артиллерию. Раб всегда подражает хозяину». Вот как Прудон описывает политическую систему, приписываемую им коммунистам:

«Жёсткая демократия, основанная по своей внешней видимости на диктатуре масс, в которой, впрочем, эти массы наделены властью, лишь необходимой для обеспечения всеобщего повиновения по рецепту, заимствованному у старого абсолютизма:

- неделимость власти;

- всепоглощающая централизация;

- систематическое уничтожение любой индивидуальной, корпоративной или местной мысли, которая расценивается как раскольничество;

- инквизиторская полиция».

«Авторитарные» социалисты призывают к «революции сверху». Они убеждены, что после революции государство продолжит своё существование. Они «сохраняют, ещё более

расширяя, государство, власть, единый центр и правительство. Они только меняют названия, как будто смена ярлыков может изменить суть вещей!» Прудон произносит следующий каламбур: «Правительство по самой своей природе контрреволюционно; поставьте у власти святого Винсента де Поля, и он превратится в Гизо или Талейрана».[36]

Бакунин так критикует «авторитарный» социализм:

«Я ненавижу коммунизм, потому что он — отрицание свободы, а я не могу себе представить ничего человеческого без свободы. Я — не коммунист, потому что коммунизм концентрирует все силы общества в государстве, которое их поглощает, потому что он неизбежно приводит к централизации собственности в руках государства, тогда как я желаю упразднения государства — радикального искоренения принципа авторитета и государственной опеки, который, под предлогом цивилизации и усовершенствования людей, по сие время порабощал их, угнетал, эксплуатировал и деморализовал. Я стремлюсь к организации общества и коллективной или социальной собственности снизу вверх посредством свободной ассоциации, а не сверху вниз при содействии власти, какова бы она ни была. (...) В этом смысле я коллективист, но нисколько не коммунист».

Вскоре после произнесения этой речи (1868 г.) Бакунин присоединился к Первому Интернационалу. Здесь он со своими соратниками столкнулся не только с Марксом и Энгельсом, но и с другими оппонентами, дававшими гораздо больше поводов для его обвинений, чем основатели «научного социализма»: с одной стороны, с немецкими социал-демократами, для которых государство было фетишем и которые предлагали с помощью избирательного бюллетеня и предвыборных альянсов создать сомнительное «народное государство» (Volkstaat); с другой стороны, с бланкистами[37], воспевавшими достоинства диктатуры революционного меньшинства в переходный период. Бакунин сражался с обеими этими «авторитарными» позициями не на жизнь, а на смерть, а Маркс и Энгельс по тактическим соображениям колебались между ними, но в итоге под влиянием критики со стороны анархистов более или менее решили отвергнуть обе.

Впрочем, неистовое противостояние между Бакуниным и Марксом произошло в первую очередь из-за того, что последний, в особенности после 1870 г., сектантски и себялюбиво прибирал к рукам Интернационал. Несомненно, что в этой схватке, где на карту был поставлен контроль над всей организацией (а, значит, и над международным рабочим движением), ошибки были допущены с обеих сторон. Бакунин сам был небезгрешен в своих опровержениях Маркса, часто злонамеренных. Однако для современного читателя основная заслуга Бакунина заключается в том, что уже в 1870 г. он поднял тревогу по поводу определённых концепций, касающихся организации рабочего класса и «пролетарской» власти, которые значительно позже приведут к перерождению Российской революции. Иногда обоснованно, но порой несправедливо, Бакунин усматривал в марксизме зародыш того, что потом превратилось в ленинизм, а затем стало злокачественной опухолью сталинизма.

Бакунин злорадно приписывал Марксу и Энгельсу соображения, которые эти двое даже если и лелеяли, то в открытую никогда не высказывали:

«Мне возразят, что все рабочие... не могут стать учёными; и разве недостаточно того, что в этой организации [Интернационале] есть группа людей, освоивших науку, философию и политику социализма так полно, как только можно их освоить в наши дни, так что большинство... может быть уверено в том, что не свернёт с верного пути к освобождению пролетариата... послушно следуя за ними? А ведь рассуждения такого характера, пусть высказанные не вполне открыто, а всегда обиняками, с оговорками, мы уже слышали — просто их носителям недостаёт смелости и откровенности, чтобы изложить их прямо».

Бакунин продолжал:

«Приняв раз за положение, по нашему убеждению совершенно ложное, что мысль предшествует жизни, отвлечённая теория общественной практике и что поэтому социологическая наука должна быть исходною точкою для общественных переворотов и перестроек, они необходимым образом приходят к заключению, что так как мысль, теория, наука, по крайней мере, в настоящее время составляют достояние весьма немногих, то эти немногие должны быть руководителями общественной жизни, не только возбуждателями, но и управителями всех народных движений». Предполагаемое народное государство стало бы не чем иным, как деспотическим правлением, установленным над массами новой и исключительно тонкой прослойкой аристократии настоящих или мнимых учёных.

Бакунин брался за перевод на русский язык главного труда Маркса, «Капитала», он глубоко уважал его как мыслителя, полностью принимал материалистическую концепцию истории и лучше, чем кто бы то ни было, понимал теоретический вклад Маркса в дело освобождения рабочего класса. Он не мог принять лишь идеи о том, что интеллектуальное превосходство может дать кому-либо право руководить рабочим движением:

«Остаётся лишь задаваться вопросом: как человек, обладающий умом Маркса, мог настолько безрассудно пойти против здравого смысла и накопленного историей опыта и решить, будто группа людей, какими бы умными и предусмотрительными они ни были, может стать душой и объединяющей силой революционного движения и экономической организации пролетариата всех стран?.. Создание универсальной диктатуры... диктатуры, которая каким-то образом выполняла бы функции главного инженера мировой революции, направляя и контролируя повстанческие движения масс во всех странах, как направляют и контролируют машину... создание такой диктатуры само по себе означало бы неминуемую смерть революции, паралич и остановку всех народных движений. И что можно думать о международном конгрессе, который якобы в интересах этой революции предлагает поставить над пролетариатом цивилизованного мира правительство, наделённое властью диктатуры?»

Опыт Третьего Интернационала[38] показал впоследствии, что даже если Бакунин несколько искажал мысли Маркса, приписывая ему полностью «авторитарную» концепцию, то опасность, от которой он предостерегал, позднее всё же воплотилась на практике.

В отношении же опасности государственного контроля в условиях коммунистического режима русский изгнанник был не менее прозорлив. «Доктринёрские» социалисты стремятся, по мнению Бакунина, «накинуть на народ новое ярмо». Безусловно, они

признают, как и анархисты, что любое государство есть аппарат подавления, но при этом утверждают, что только диктатура — их диктатура, конечно, — может создать народную волю; возразим на это, что никакая диктатура не может иметь другой цели, кроме увековечивания себя. Вместо того чтобы дать возможность пролетариату уничтожить государство, они хотят «передать его (...) в полное распоряжение (...) благодетелей, опекунов и учителей — начальников коммунистической партии». Они прекрасно понимают, что такое правительство, «несмотря на все демократические формы, будет настоящей диктатурой», и «утешают мыслью, что эта диктатура будет временная и короткая». Но нет, отвечает Бакунин. Эта, как предполагается, временная мера неизбежно приведёт к «восстановлению государства с его привилегиями, его неравенством и всем арсеналом угнетения», к формированию правительственной аристократии, «которая будет править и эксплуатировать во имя всеобщего счастья или ради спасения государства». И государство это будет «тем более неограниченным, абсолютным, что деспотизм его тщательно прячется под личиной раболепного служения (...) воле народа».

Всегда прозорливый, Бакунин верил в русскую революцию: «Если рабочие Запада будут слишком долго ждать, им подадут пример крестьяне России». В России революция будет «анархической». Но он опасался конечного результата: возможно, революционеры просто возродят государство Петра Великого, которое «основывалось на... подавлении всех проявлений жизни народа», ибо «можно изменить ярлык, навешенный на государство, и его форму, но основание останется неизменным». Надо либо уничтожить государство, либо «смириться с самой страшной и опасной ложью нашего века — ...красной бюрократией». Бакунин резюмировал свою мысль так: «Возьмите самого яростного революционера и посадите на всероссийский престол или дайте ему власть диктаторскую, о которой так мечтают наши революционеры, и он через год делается хуже самого царя».

После того как в России произошла революция, Волин, бывший её участником, свидетелем и летописцем, написал, что события эти преподали практический урок, который подтверждал теоретический урок отцов анархизма. Действительно, социалистическая власть и социальная революция — вещи, «противоречащие друг другу», и свести их вместе нельзя:

«Революция, которая вдохновляется идеями государственного социализма и доверяет ему свою судьбу, хотя бы «временно» и на «переходный период», погибла: она вступает на ложный путь, на наклонную плоскость. И катится в бездну. (...) Всякая политическая власть неизбежно ставит в привилегированное положение тех, кто её осуществляет. (...) Встав над революцией, обуздав её, власть вынуждена создать свой бюрократический аппарат принуждения, необходимый для её сохранения, для командования, одним словом — для «управления». (...) Всякая власть в той или иной степени стремится сосредоточить в своих руках бразды правления жизнью общества. Она предрасполагает массы к пассивности, ибо само её существование удушает в людях дух инициативы. (...) «Коммунистическая» власть (...) является в этом плане настоящей ловушкой. Гордая своим «авторитетом», (...) она боится всякого проявления независимости. Любая самостоятельная инициатива вызывает у неё подозрение, представляется угрозой. (...) Она никому не желает уступать бразды правления. Всякая инициатива представляется ей вторжением в её сферу, покушением на её прерогативы. Для неё это невыносимо».

Более того, анархисты категорически отрицают необходимость «временных» и «переходных» стадий. В преддверии Испанской революции 1936 г. Диего Абад де Сантильян[39] поставил «авторитарный» социализм перед следующей дилеммой: «Либо революция даст производителям общественные богатства, либо нет. Если да, то производители организуются с тем, чтобы наладить коллективное производство и распределение, а государству не останется никаких функций. Если нет, значит, революция была обманом, и государство не прекратило своего существования». Можно сказать, что дилемма несколько упрощена; этого можно было бы избежать, переведя её в категории намерений: анархисты не настолько наивны, чтобы полагать, будто все государственные пережитки могут исчезнуть за одну ночь, но у них есть воля к тому, чтобы заставить их рассеяться так быстро, как только возможно; «авторитарии», с другой стороны, удовлетворяются перспективой бесконечного сохранения переходного государства, провозглашённого «государством рабочих».

Источники вдохновения: личность

Иерархии, подчинению и принуждению «авторитарного» социализма анархизм противопоставляет два источника революционной энергии: личность и стихийность масс. В зависимости от обстоятельств, анархисты либо более индивидуалистичны, чем социальные, либо, напротив, более социальные, нежели индивидуалистичны. Но, как отметил Огюстен Амон во время упоминавшегося выше опроса общественного мнения, невозможно представить себе анархиста, который не был бы индивидуалистом.

Макс Штирнер реабилитировал личность в то время, когда в философии господствовал гегельянский антииндивидуализм, а в области социальной критики пагубные проявления буржуазного эгоизма привели большинство социальных реформаторов к сосредоточению на его противоположности: разве само слово «социализм» не возникло в качестве антонима «индивидуализма»?

Штирнер превозносит истинную ценность «уникальной» личности, являющейся по своей природе неповторимой, ни на кого не похожей, созданной природой в единственном экземпляре (это подтверждается и современными исследованиями в области биологии). В течение многих лет этот философ оставался изолированным даже в анархистских кругах, считался эксцентричным чудаком, за которым следовала лишь небольшая секта закоренелых индивидуалистов. В наши дни величие и смелость его мысли предстают в полном свете. И действительно, современный мир как бы ставит себе задачей освобождение личности от всех давящих на неё ограничений и разновидностей угнетения, начиная с индустриального рабства и кончая тоталитарным конформизмом. Симона Вейль[40] в знаменитой статье, опубликованной в 1933 г., сожалела о невозможности отыскать в марксистской литературе ответ на вопросы, возникшие вследствие необходимости защиты личности от новых форм угнетения, пришедших на смену классическому капиталистическому гнёту. А ведь ещё в середине XIX века Штирнер приложил все силы к тому, чтобы заполнить этот поистине важный пробел.

Писатель, владеющий живым, поразительным и потрясающим стилем, он изъясняется пулемётной очередью афоризмов: «Не ищите в отказе от самих себя той свободы, что лишает вас именно вас, а ищите себя (...). Пусть каждый из вас станет всемогущим „Я“». Нет иной свободы, кроме завоёванной самим индивидом. Дарованная свобода суть не свобода, а «краденый товар». «Нет иного судьи, кроме меня самого, способного решить, прав я или нет». «Ты имеешь право быть тем, кем ты способен быть». То, что ты совершаешь, ты совершаешь в качестве уникальной личности. «Государство, общество, человечество не могут обуздать этого беса».

Чтобы стать свободной, личность должна прежде всего досконально пересмотреть весь багаж, которым её обременили прародители и воспитатели. Она должна заняться огромной работой по «десакрализации», развенчанию всего, начав с так называемой буржуазной морали: «Подобно самой буржуазии, её исконной почвы, она ещё слишком близка к религиозным небесам, она всё ещё недостаточно свободна, заимствует у них без какого-либо пересмотра их законы, кои она просто-напросто пересаживает на свою собственную почву вместо того, чтобы создавать свои собственные и независимые доктрины».

В особенную ярость Штирнера приводила сексуальная мораль. То, что христианство «подстроило против страсти», апостолы движения за светский характер общества просто-напросто приняли от него в наследство. Они не желают внимать призывам плоти, последние вызывают у них лишь негодование. Они бьют «безнравственность по самой роже». Моральные предрассудки, привитые христианством, свирепствуют, в частности, в народных массах: «Народ увлечённо науськивает полицию на всё то, что кажется ему аморальным или просто предосудительным, и эта общественная страсть к морали защищает полицию как институт намного лучше, чем это могло бы сделать правительство».

Предвосхищая современный психоанализ, Штирнер констатирует и изобличает интериоризацию моральных представлений. С раннего детства нас пичкают моральными предрассудками. Мораль стала «внутренней силой, от которой я не могу себя освободить». «Её деспотизм в десяток раз хуже, чем прежде, ибо она рычит в моём сознании». «Молодых как стадо загоняют в школы учить все те же старые байки, а когда они затвердят пустословие стариков, их объявляют совершеннолетними». Штирнер выступает иконоборцем: «Бог, совесть, обязанности, долг, законы — всё это чепуха, которой нам напичкали мозг и сердце». Истинные обольстители и развратители молодёжи — священники и родители, «запутывающие юные сердца и одуряющие молодые умы». Если и существует «дьявольское» творение, так это именно мнимый глас господень, вбитый в наше сознание.

В своей реабилитации личности Штирнер открывает также фрейдовское подсознание. Постичь «Я» невозможно. Об него «разбивается вдребезги империя мысли, размышления, духа». Оно невыразимо, непостижимо, неуловимо. Сквозь блестящие афоризмы Штирнера мы слышим как бы первое эхо экзистенциальной философии: «Я начинаю с гипотезы, принимая за гипотезу самого себя. (...) Она служит мне исключительно для наслаждения и насыщения ею. (...) Я существую единственно, поскольку Я ей питаюсь. (...) Тот факт, что я представляю всепоглощающий интерес для самого себя, означает, что я существую».

Безусловно, пыл и остроумие, которые направляли перо Штирнера, порой приводили его к парадоксам. Он раздражается подчас антисоциальными афоризмами. Иногда он приходит к заключению о невозможности жизни в обществе: «Мы стремимся не к совместной жизни, а к жизни по отдельности». «Народ умер! Да здравствует „Я“!» «Счастье народа есть моё несчастье». «Справедливо то, что справедливо для меня. Возможно (...), что это несправедливо для других; но это их дело, а не моё: пускай защищаются сами».

Эти случайные выходки не выражают, однако, всей глубины его мыслей. Вопреки своему бахвальству отшельника, Штирнер стремится к совместной жизни. Как и большинство одиночек, затворников, интровертов, он испытывает по ней острую тоску. На вопрос о том, как его исключительность позволяет ему жить в обществе, он отвечает, что лишь человек, осознавший свою «уникальность», может иметь отношения с себе подобными. Человек нуждается в друзьях, в содействии; если, к примеру, он пишет книги, ему нужны читатели. Он соединяется с ближним своим, дабы усилить свою мощь и сделать посредством объединения усилий больше, чем каждый мог бы сделать по отдельности. «Если за тобой стоят несколько миллионов других, чтобы защитить тебя, то вместе вы представляете громадную силу и легко добьётесь победы». Но при одном условии: такие отношения с другими людьми должны быть добровольными, свободными и в любой момент расторгимыми. Штирнер различает предустановленное общество, являющееся принуждением, и ассоциацию, объединение, являющееся свободным актом: «Общество пользуется тобою, союзом же пользуешься ты». Безусловно, ассоциация подразумевает жертву, ограничение свободы. Но жертва эта не приносится общественному: «Напротив, я решился на соглашение только ради своей собственной пользы, из своекорыстия».

Автор «Единственного и его собственности» занимался и современными ему проблемами, особенно когда рассматривал вопрос о политических партиях, в частности, о коммунистах. Он сурово критиковал партийный конформизм: «Человек должен следовать установкам своей партии везде и повсюду, полностью одобряя и защищая её основные принципы». «Члены партии... склоняются перед её малейшими желаниями». Программа партии должна «быть для них очевидна, свободна от вопросов... Человек должен принадлежать партии телом и душой... Любой переходящий из одной партии в другую немедленно воспринимается как ренегат». По мнению Штирнера, монолитная партия перестаёт быть объединением, от него остаётся лишь мёртвая оболочка. Он отвергал подобную партию, но не оставлял надежду присоединиться к политическому объединению: «Я всегда найду достаточно людей, которые соединятся со мной, не став под моё знамя». Он чувствовал, что смог бы вступить в партию только в том случае, если «в ней нет ничего обязательного», и единственным его условием была уверенность в том, что «он не позволит партии подмять себя». «Партия — это всего лишь то, в чем участвует человек». «Он свободно вступает в объединение и точно таким же образом может забрать назад свою свободу».

В рассуждениях Штирнера не хватает лишь одного пояснения, хотя оно и подразумевается более или менее в его трудах, а именно: его концепция личностной уникальности не только «эгоистична», полезна единичному «Я», но ценна также и для коллектива. Объединение людей плодотворно, только если оно не раздробляет личность, только если оно, напротив, развивает её инициативу, её созидательную энергию. Разве сила партии не заключается в сложении индивидуальных сил, входящих в неё?

Этот пробел в его аргументации объясняется тем, что штирнеровский синтез личности и общества остался незавершённым, недоработанным. В наследии этого бунтаря общественное и антиобщественное сталкиваются, не всегда сливаясь воедино. И социальные анархисты были вынуждены совершенно обоснованно упрекать его за это.

Они адресуют ему упрёки тем язвительнее, что Штирнер, без сомнения, в силу своей плохой осведомлённости, занёс Прудона в число «авторитарных» коммунистов, которые во имя «общественного долга» осуждают любые индивидуалистические устремления. Но если и справедливо, что Прудон глумился над штирнеровским «поклонением» личности,[41] всё его творчество представляет собой поиск синтеза или, скорее, «равновесия» между заботой о личности и интересами общества, между силой индивидуальной и силой коллективной. «Поскольку индивидуализм является первоначальным фактом человечества, объединение является дополнительным по отношению к нему». «Некоторые, считая, что человек имеет ценность лишь через общество, пытаются растворить личность в коллективе. Такова (...) коммунистическая система: утрата личности во имя общества (...). Это есть тирания, мистическая и анонимная, а вовсе не объединение (...). Если человеческая личность лишается своих исключительных прав, общество оказывается лишённым своего жизненного начала».

Но, с другой стороны, Прудон нападает на индивидуалистическую утопию, являющую собой нагромождение индивидуальностей без чего-либо органического, без силы коллектива, неспособную разрешить проблему согласования интересов. Иными словами, ни коммунизма, ни неограниченной свободы. «У нас слишком много совместных интересов, слишком много общего».

Бакунин также, в свою очередь, одновременно и индивидуалист, и сторонник общества. Он неустанно повторяет, что именно на основе свободной личности может быть воздвигнуто свободное общество. Всякий раз, когда он перечисляет права, которые должны быть гарантированы коллективам, включая право на самоопределение и выход из объединения, он непременно ставит личность во главу перечня тех, кому предназначаются эти права. Индивид имеет обязанности перед обществом лишь в той степени, в какой он свободно согласился войти в него, стать его частью. Каждый человек свободен объединяться или же, напротив, не объединяться с другими и жить, если пожелает, «в пустыне или в лесах среди диких зверей». «Свобода есть абсолютное право всякого человеческого существа не искать у кого-либо разрешения на свои деяния, кроме решения своей собственной совести и своего собственного разума, определяться в своих действиях только своей собственной волей и, следовательно, быть ответственным в первую очередь перед ними». Общество, членом которого индивид решил стать по своему свободному выбору, фигурирует в перечне тех, перед кем ответственен человек, лишь на втором месте. Оно имеет по отношению к личности больше обязанностей, нежели прав: оно не устанавливает в отношении индивида, при условии, что он совершеннолетний, «ни надзора, ни власти», но должно обеспечить «защиту его свободы».

Бакунин заходит очень далеко в своём практическом определении «абсолютной и полной свободы». Я имею право располагать собой как мне угодно, быть ленивым или деятельным, честно жить плодами собственного труда либо бесстыдно эксплуатировать

благотворительность или доверие частного лица. Всё это возможно только при одном условии: эта благотворительность и это доверие должны быть добровольными и должны оказываться мне исключительно совершеннолетними индивидами. Я имею даже право вступать в союзы, которые по цели своей являются или могут кому-то показаться «аморальными». Бакунин, в своей заботе о свободе, даже допускает, чтобы человек вступал в объединения, целью которых будут подрыв или уничтожение личной или общественной свободы: «Свобода может и должна защищать себя только посредством свободы; пытаться ограничить её под предлогом защиты свободы означает впасть в опасное противоречие».

В том, что касается проблемы этики, Бакунин убеждён, что «аморальность» есть следствие порочной организации общества. Эта последняя, следовательно, должна быть уничтожена сверху донизу. Улучшать нравственность можно только свободой. Любое ограничение под предлогом защиты морали всегда оказывается вредным для неё самой. Подавление не только не прекращает разгула безнравственности, но всегда лишь расширяет и углубляет её. Поэтому бесполезно противопоставлять ей строгие ограничения законодательства, которые посягают на личную свободу. Бакунин допускает одно единственное наказание бездельников, праздношатающихся и злоумышленников: лишение их политических прав, то есть гарантий общества, предоставляемых личности. Тем же образом каждый человек имеет право сам отчуждать свою свободу, но при этом он лишается и своих политических прав на период этого добровольного рабства.

Если преступления всё же совершаются, то к ним надо относиться как к болезни, то есть наказание должно больше походить на лечение, нежели на месть. Кроме того, осуждённый человек должен иметь право не подчиняться вынесенному приговору, заявив, что он более не желает быть членом этого общества. Общество же в ответ имеет право изгнать его из своего лона и лишить его своих гарантий и своей защиты.

Бакунин, однако, отнюдь не является нигилистом. Провозглашение абсолютной свободы личности не привело его к отказу от всех общественных обязательств. Я становлюсь свободным лишь через свободу других. «Человек осуществляет свою свободную индивидуальность, лишь дополняя себя всеми окружающими его индивидами и лишь благодаря труду и коллективному могуществу общества». Объединение добровольно, но у Бакунина не возникает никаких сомнений в том, что принимая во внимание колоссальные его преимущества, «все предпочтут объединение». Человек — одновременно «самое индивидуальное и самое социальное из всех существ».

Разбираемый нами автор также не питает нежных чувств по отношению к вульгарному эгоизму, к буржуазному индивидуализму, «заставляющему личность завоёвывать и устанавливать своё собственное благосостояние (...), несмотря на других, в ущерб и за счёт других». «Одинокий, отдельный и абстрактный индивид есть вымысел, подобный вымыслу о боге». «Полное одиночество, уединение означает гибель интеллектуальную, моральную, а также материальную».

Бакунин, обладавший широкими взглядами и синтетическим умом, предлагает перебросить мост между личностями и движением масс: «Любая общественная жизнь есть не что иное, как непрерывная взаимная зависимость личностей и масс. Все личности, даже наиболее

умные, наиболее сильные (...), в каждый миг своей жизни являются одновременно инициаторами и продуктами воли и действия масс». Для анархиста революционное движение является продуктом такого взаимного действия; потому-то он и придаёт, с точки зрения пользы для борьбы, равное значение индивидуальному действию и действию коллективному, автономному, массовому.

Испанские анархисты, духовные наследники Бакунина, хотя и были приверженцами обобществления, в самый канун революции 1936 г. не преминули дать торжественное обещание защищать священную автономию личности: «Вечное стремление быть уникальным, — писал Диего Абад де Сантильян, — будет выражено тысячью способов: личность не будет подавлена каким-либо уравниванием (...). Индивидуализм, личный вкус, своеобразие обретут достаточное поле для самовыражения».

Источники вдохновения: массы

Революция 1848 г. открыла Прудону, что массы являются движущей силой революций. «Революции, — отмечает он в конце 1849 г., — не признают инициаторов; они происходят, когда будет подан сигнал судьбы; они прекращаются, когда загадочная сила, под воздействием коей они возникли, иссякает». «Все революции совершались благодаря стихийным действиям народа; если иногда правительства и следовали за народной инициативой, то лишь по принуждению. В остальном же они всегда запрещали, подавляли, наносили удар». «Когда народ предоставлен лишь своему инстинкту, он всегда видит яснее, чем когда им управляет политика вождей». «Социальная революция (...) не происходит по приказу учителя с готовой теорией или под диктовку обличителя. Подлинно органическая революция, продукт всеобщей жизни, хотя и имеет своих вестников и исполнителей, не является на самом деле делом рук кого-то одного». Революция должна проистекать снизу, а не сверху. Едва лишь закончится революционный кризис, перестройка общества должна стать делом самих народных масс. Прудон выступал за «личность и автономию масс».

Бакунин также, в свою очередь, неустанно повторяет, что социальная революция не может быть ни начата по указу, ни организована сверху; она может совершиться и достичь своего полного развития исключительно в результате стихийной и постоянной деятельности масс. Революции возникают «аки тать в нощи». Они «происходят в силу положения вещей». «Они долго созревают в глубине смутного сознания народных масс, потом вспыхивают, вызванные, казалось бы, ничтожными причинами». «Их можно предвидеть, иногда предчувствовать их приближение, но никогда нельзя ускорить их взрыв». «Таков (...) путь анархической социальной революции, возникающей самостоятельно в народной среде, разрушающей всё, что противно широкому разливу народной жизни, для того чтобы потом из самой глубины народного существа создать новые формы свободной жизни». В опыте Коммуны 1871 г. Бакунин увидел поразительное подтверждение своих взглядов. Коммунары были убеждены, что в социальной революции «действия отдельных лиц были почти ничем, а самопроизвольная деятельность масс должна была быть всем».

Кропоткин, как и его предшественники, прославляет «этот восхитительный дух стихийной организации, коим народ (...) обладает в столь высокой степени и который ему столь редко

позволяют проявлять». Он насмешливо добавляет, что «сомневаться в нём может лишь тот, кто всю жизнь прожил, заживо похоронив себя под толщей официальных бумаг».

Но после всех этих щедро-оптимистических утверждений анархист, как, впрочем, и его собрат и недруг марксист, оказывается перед лицом серьёзных противоречий. Стихийность масс, несомненно, существенна, приоритетна, но одной её недостаточно. Для того чтобы эта стихийность стала сознательной, оказывается необходимым содействие небольшого меньшинства революционеров, способных замыслить революцию. Как избежать того, чтобы эта элита не воспользовалась своим интеллектуальным превосходством и не подменила собой массы, парализовав их инициативу, навязав им новое господство?

После своего идиллического восторга по поводу стихийности Прудон приходит к констатации инертности масс и сожалеет о правительственном предрассудке, инстинкте чиновничества, комплексе неполноценности, которые препятствуют народному порыву. Получается, что коллективное действие народа должно быть возбуждено. Если не снизойдёт откровение извне, то порабощение низших классов может длиться бесконечно. И Прудон идёт на уступку и соглашается с тем, что «идеи, во все эпохи возбуждавшие и поднимавшие массы, прежде созревают в мозгу немногих мыслителей (...). Приоритетом никогда не располагала толпа, масса (...). Приоритет в любом проявлении разума и духа принадлежит личности». Идеал заключается в том, чтобы эти сознательные меньшинства несли своё знание, революционную науку в народ. Но Прудон выказывает скептицизм по поводу осуществимости такого синтеза: проповедовать его означало бы, по его мнению, недооценивать захватническую природу власти. В лучшем случае возможно «сбалансировать» два эти элемента.

До своего обращения в анархизм около 1864 г. Бакунин был вовлечён в заговоры и деятельность тайных обществ и ознакомился с типично бланкистской идеей о том, что действия меньшинства должны предшествовать пробуждению широких масс, чтобы затем соединиться с самыми продвинутыми элементами последних, после того как те пробудятся от летаргического сна. В рабочем Интернационале, широком пролетарском движении, которое, наконец, было создано, проблема стояла совершенно иначе. Однако, даже сделавшись анархистом, Бакунин остался убеждённым в необходимости сознательного авангарда: «для торжества революции над реакцией необходимо, чтобы посреди народной анархии, которая составит самую жизнь и энергию революции, единство революционной мысли и революционного действия нашло свой орган». Более или менее многочисленная группа личностей, вдохновлённых общей мыслью и стремящихся к единой цели, должна оказывать «естественное действие на массы». «Десять, двадцать или тридцать человек с ясным пониманием и хорошей организацией, знающих куда они идут и чего хотят, могут с лёгкостью увлечь за собой одну, две, три сотни людей и даже больше». «Мы должны создать хорошо организованный и вдохновлённый верной идеей командный состав вождей народного движения».

Рекомендуемые Бакуниным методы сильно напоминают то, что на современном политическом жаргоне именуется «подрывной деятельностью». Он советует «скрытно» обрабатывать наиболее умных и влиятельных представителей каждой отдельной местности «для того, чтобы эта организация как можно более соглашалась с нашими принципами. В

этом и состоит весь секрет нашего влияния». Анархисты должны быть как бы «невидимыми штурманами» посреди народного шторма. Они должны направлять этот шторм, руководить им, быть не «явной властью», но диктатурой «без титулов, без знаков отличий, без официальных прав, диктатурой тем более мощной, что она будет лишена внешней видимости власти».

Бакунин чётко отдавал себе отчёт в том, как мало его терминология («вожди», «диктатура» и т. д.) отличалась от той, которой пользовались противники анархизма, и заранее отвечал «всякому, кто утверждает, что таким образом организованное действие есть ещё одно покушение на свободу масс, попытка создать новую авторитарную силу». Нет! Сознательный авангард не должен быть ни благодетелем, ни единовластным вождём-диктатором народа, а лишь акушером, помогающим самоосвобождению народа. Всё, чего этот авангард может достичь, так это распространения в массах идей, отвечающих их инстинктам, и он не должен делать ничего сверх того. Всё остальное должно и может осуществляться только самим народом. «Революционные власти» (Бакунин не воздерживался от использования этого термина, но извинял его использование, выражая надежду на то, что «их будет как можно меньше») не должны были навязывать революцию массам, но пробуждать её в их гуще; они не должны были подчинять массы какой-либо организации, но порождать их автономную организацию снизу вверх.

Гораздо позже Роза Люксембург[42] пояснила то, что имел в виду Бакунин: противоречие между либертарной спонтанностью и необходимостью вмешательства сознательного авангарда будет полностью разрешено лишь тогда, когда научное знание сольётся с рабочим классом, когда массы станут полностью сознательными и им больше не потребуются «вожди», а нужны будут лишь «исполнительные органы» для их «сознательных действий». Подчеркнув, что пролетариату по-прежнему не хватает знаний и организации, русский анархист приходит к заключению, что Интернационал не может стать инструментом освобождения, кроме как, «если бы он смог добиться того, чтобы наука, философия и политика социализма проникли в мыслящее сознание его членов».

Но такой синтез, удовлетворительный с теоретической точки зрения, представлял собой набросок, прикинутый на очень отдалённую перспективу. До тех пор, пока историческая эволюция не позволяла осуществить всё это, анархисты, подобно марксистам, оставались в большей или меньшей степени заложниками этого противоречия. Это противоречие растерзает Российскую революцию, разрывавшуюся между стихийной властью Советов и претензией партии большевиков на «руководящую роль»; оно же проявится в Испанской революции, где анархисты колебались между двумя полюсами: движением масс и сознательной анархистской элитой.

Это противоречие можно проиллюстрировать с помощью двух исторических примеров.

Из опыта Российской революции анархисты сделали категорический вывод: «руководящая роль» партии должна быть осуждена. Один из них, Волин, сформулировал это следующим образом:

«Основная идея анархизма проста: никакая партия, политическая или идеологическая группа, ставящая себя над трудящимися массами или вне их и стремящаяся «управлять» ими или «вести» их, никогда не сможет освободить их, даже если искренне желает этого. Действительное освобождение может произойти лишь в процессе непосредственной, широкомасштабной и независимой деятельности самих трудящихся, объединившихся не под знаменем политической партии или идеологической группы, а в свои собственные классовые организации (производственные профсоюзы, заводские комитеты, кооперативы и т. п.) на основе конкретных действий и самоуправления при помощи, но не под руководством революционеров, которые действуют не извне, а в самих массовых профессиональных, технических, оборонительных и других органах. (...) Анархическая идея и подлинная освободительная революция могут быть осуществлены не одними анархистами, а лишь широкими массами; анархисты, или, скорее, революционеры вообще, призваны исключительно просвещать их и в отдельных случаях оказывать помощь. Если анархисты утверждают, что могут совершить социальную революцию, «ведя» за собой массы, подобная претензия безосновательна, по тем же причинам, что и у большевиков».

Однако испанские анархисты, в свою очередь, ощущали необходимость образования сознательного идейного меньшинства, Федерации анархистов Иберии (ФАИ), внутри их обширной профсоюзной организации, Национальной Конфедерации Труда (НКТ), в целях борьбы с реформистскими тенденциями некоторых «чистых» синдикалистов, а также с ухищрениями приверженцев «диктатуры пролетариата». Вдохновляясь советами Бакунина, ФАИ старалась скорее просвещать, чем руководить, а относительно высокая сознательность большинства рядовых членов НКТ способствовала тому, что эта организации избежала эксцессов, свойственных «авторитарным» революционным партиям. Но ФАИ довольно посредственно играла свою роль направляющей силы из-за своих неловких попыток опекуна по отношению к синдикатам, из-за нерешительности в проведении своей стратегии, из-за того, что она была богата скорее активистами и агитаторами, чем последовательными революционерами в теории и на практике.

Отношения между массами и сознательным меньшинством составляют проблему, решение которой ещё не полностью найдено даже анархистами, и в отношении которой последнее слово ещё, кажется, не прозвучало.

Версия #1

Зверобой создал 10 апреля 2025 23:07:36

Зверобой обновил 10 апреля 2025 23:13:10